

Леоне Леони

Юная Жюльетта чиста и наивна. Она исполнена надежд и мечтает о счастливом замужестве. Отец и мать души не чают в дочери. Все пророчили Жюльетте прекрасное будущее. Но в ее жизни появился он — роковой красавец Леоне Леони. В этом мужчине было что-то дьявольское, что-то порочное и одновременно манящее. Любитель азартных игр, прожигатель жизни. Жюльетта влюбляется в него, который обещает ей вечную любовь, о которой она так мечтала. Но его слова — фальшивы, как и он сам. Леоне станет для нее всем. И ради него она готова будет отречься от мечтаний и счастья...

В книгу так же вошли рассказы «Маттеа» и «Лора. Путешествие в кристалл».

Жорж Санд



Леоне Леони





ШЕДЕВРЫ МИРОВОЙ
КЛАССИКИ



ЖОРЖ САНД



ЛЕОНЕ ЛЕОНИ



ХАРЬКОВ  КЛУБ
2020  СЕМЕЙНОГО
ДОСУГА



Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»
2020

ISBN 978-617-12-7827-1 (epub)

Никакая часть данного издания не может быть
скопирована или воспроизведена в любой форме
без письменного разрешения издательства

Электронная версия создана по изданию:



Перевод: А. Энгельке («Леоне Леони»), Е. И. Уманец («Лора. Путешествие в кристалл»), М. А.
Бекетова («Маттэа»)

Дизайнер обложки Владлен Трубчанинов

В оформлении обложки использован фрагмент картины Джорджа Ромни «Джейн — герцогиня Гордон со своим сыном Джорджем Дунканом», 1778 г.

Юна Джульетта чиста і наївна. Вона сповнена надій та мріє про щасливе заміжжя. Батько й мати обожають дочку. Усі пророкували дівчині прекрасне майбутнє. Але в її житті з'явився він — фатальний красень Леоне Леоні. У цьому чоловікові було щось диявольське, хибне й одночасно вабливе. Любитель азартних ігор і марнотратник. Жюльетта закохується в негідника, що обіцяє їй вічну любов, на яку вона так сподівалася. Але його слова — фальшиві, як і він сам. Леоне стане для неї всім. І заради нього вона готова зректися мрій і щастя...

До книги також увійшли оповідання «Маттео» і «Лора. Подорож у кристал».

Санд Ж.

С18 Леоне Леони / Жорж Санд ; пер. с фр. А. Энгельке, Е. И. Уманец, М. А. Бекетовой. — Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2020. — 320 с. — (Серия «Шедевры мировой классики», ISBN 978-617-12-4211-1).

ISBN 978-617-12-7620-8

Юная Жюльетта чиста и наивна. Она исполнена надежд и мечтает о счастливом замужестве. Отец и мать души не чают в дочери. Все пророчили Жюльетте прекрасное будущее. Но в ее жизни появился он — роковой красавец Леоне Леони. В этом мужчине было что-то дьявольское, что-то порочное и одновременно манящее. Любитель азартных игр, прожигатель жизни. Жюльетта влюбляется в него, который обещает ей вечную любовь, о которой она так мечтала. Но его слова — фальшивы, как и он сам. Леоне станет для нее всем. И ради него она готова будет отречься от мечтаний и счастья...

В книгу также вошли рассказы «Маттеа» и «Лора. Путешествие в кристалл».

УДК 821.133.1

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2020

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2020

Леоне Леони

1

Мы были в Венеции. Холод и дождь прогнали прохожих и карнавальные маски с площади и набережных. Ночь была темной и молчаливой. Издали доносился лишь монотонный рокот волн Адриатики, бившихся об островки, да слышались оклики вахтенных с фрегата, стерегущего вход в канал Сан-Джорджо, попеременно с ответными возгласами с борта дозорной шхуны. Во всех палаццо и театрах шумел веселый карнавал, но за окнами все было хмуро, и свет фонарей отражался на мокрых плитах; время от времени раздавались шаги какой-нибудь запоздалой маски, закутанной в плащ.

Нас было только двое в просторной комнате прежнего палаццо Нази, расположенного на Словенской набережной и превращенного ныне в гостиницу, самую лучшую в Венеции. Несколько одиноких свечей на столах и отблеск камина слабо освещали огромную комнату; колебания пламени, казалось, приводили в движение аллегорические фигуры божеств на расписанном фресками потолке. Жюльетте нездоровилось, и она отказалась выйти из дому. Улегшись на диван и укутавшись в свое горностаевое манто, она, казалось, покоилась в легком сне, а я бесшумно ходил по ковру, покуривая сигареты «Серральо».

Нам в том краю, откуда я родом, известно некое душевное состояние, которое, думается мне, характерно именно для испанцев. Это своего рода невозмутимое спокойствие, которое отнюдь не исключает, как, скажем, у представителей германских народов или завсегдатаев восточных кафе, работу мысли. Наш разум вовсе не притупляется и при том состоянии отрешенности, которое, казалось, целиком завладевает нами. Когда мы, куря сигару за сигарой, целыми часами размеренно шагаем по одним и тем же плиткам мозаичного пола, ни на дюйм не отступая в сторону, именно в это время происходит у нас то, что можно было бы назвать умственным пищеварением; в такие минуты возникают важные решения, и пробудившиеся страсти утихают, порождая энергические поступки. Никогда испанец не бывает более спокоен, чем в то время, когда он вынашивает благородный или злодейский замысел. Что до меня, то я обдумывал тогда свое намерение; но в намерении этом не было ничего героического и ничего ужасного. Когда я обошел комнату раз

шестьдесят и выкурил с дюжину сигарет, решение мое созрело. Я остановился подле дивана и, не смущаясь тем, что моя молодая подруга спит, обратился к ней:

— Жюльетта, хотите ли вы быть моей женой?

Она открыла глаза и молча взглянула на меня. Полагая, что она не расслышала моего вопроса, я повторил его.

— Я все прекрасно слышала, — ответила она безучастно и снова умолкла.

Я решил, что предложение мое ей не понравилось, и ощутил страшнейший приступ гнева и боли, но из уважения к испанской степенности я ничем себя не выдал и снова зашагал по комнате.

Когда я делал седьмой круг, Жюльетта остановила меня и спросила:

— К чему это?

Я сделал еще три круга по комнате; затем бросил сигару, подвинул стул и сел возле молодой женщины.

— Ваше положение в свете, — сказал я ей, — должно быть, терзает вас?

— Я знаю, — ответила она, поднимая чудесную головку и глядя на меня своими голубыми глазами, во взоре которых, казалось, равнодушие стремилось побороть грусть, — да, я знаю, дорогой Алео, что моя репутация в свете непоправимо запятнана: я содержанка.

— Мы все это перечеркнем, Жюльетта; мое имя снимет пятно с вашего.

— Гордость грандов! — молвила она со вздохом. Затем она внезапно повернулась ко мне; схватив мою руку и, вопреки моей воле, поднеся ее к своим губам, она добавила: — Так это правда? Вы готовы на мне жениться, Бустаменте? Боже мой! Боже мой! К какому сравнению вы меня невольно принуждаете!

— Что вы хотите этим сказать, дорогое дитя мое? — спросил я.

Она мне не ответила и залилась слезами.

Эти слезы, причину которых я слишком хорошо понимал, глубоко задела меня. Но я тут же подавил вспышку бешенства, которую они во мне вызвали, и, приблизившись, сел возле Жюльетты.

— Бедняжка, — молвил я, — так эта рана все еще не затянулась?

— Вы разрешили мне плакать, — отвечала она, — это было первое наше условие.

— Поплачь, моя бедная, обиженная девочка! — сказал я ей. — А потом выслушай меня и ответь.

Она вытерла слезы и вложила свою руку в мою.

— Жюльетта, — продолжал я, — когда вы называете себя содержанкой, вы просто не в своем уме. Какое вам дело до мнения и грубой болтовни каких-то глупцов? Вы моя спутница, моя подруга, моя возлюбленная.

— О да, увы! — откликнулась она. — Я твоя любовница, Алео, и в этом весь мой позор. Мне следовало бы скорее умереть, чем верить такому благородному сердцу, как твое, обладание сердцем, в котором все уже почти угасло.

— Мы постепенно оживим тлеющий в нем пепел, дорогая моя Жюльетта. Позволь мне надеяться, что там таится хотя бы одна еще искорка и что я смогу ее отыскать.

— Да, да, я тоже надеюсь, я этого хочу! — живо отозвалась она. — Итак, я буду твоей женой? Но для чего? Разве я стану больше любить тебя? Разве ты станешь более уверен во мне?

— Я буду знать, что ты стала счастливее, и от этого буду счастливее сам.

— Счастливее? Вы ошибаетесь: с вами я счастлива настолько, насколько вообще можно ею быть. Каким образом титул доньи Бустаменте смог бы сделать меня еще счастливее?

— Он защитил бы вас от наглого презрения света.

— Света! — воскликнула она. — Вы хотите сказать — ваших друзей? Да что такое свет? Я никогда этого не понимала. Я уже многое повидала в жизни и много поехала по земле, но так и не заметила того, что вы называете светом.

— Я знаю, что ты до сих пор жила, как зачарованная девушка под хрустальным колпаком, и все же я видел, как ты горько плакала над своей тогдашней горестной судьбой. Я дал себе слово, что предложу тебе мой титул и мое имя, как только буду уверен в твоей привязанности.

— Вы меня не поняли, дон Алео, если подумали, что плакала я от стыда. Для стыда не было места в моем сердце. В нем было достаточно других горестей, которые переполняли его и делали нечувствительным ко всем проявлениям внешнего мира. Люби он меня

по-прежнему, я была бы счастлива, даже будучи опозоренной в глазах того, что вы зовете светом.

Я был не в состоянии побороть приступ гнева, от которого весь задрожал. Я встал, чтобы снова зашагать по комнате. Жюльетта удержала меня.

— Прости, — промолвила она растроганно, — прости мне ту боль, что я тебе причиняю. Не говорить об этом — свыше моих сил.

— Так говори, Жюльетта, — ответил я, подавляя горестный вздох, — говори же, если это способно тебя утешить! Но неужто ты так и не можешь его забыть, когда все, что тебя окружает, направлено к тому, чтобы приобщить тебя к иной жизни, иному счастью, иной любви!

— Все, что меня окружает! — воскликнула Жюльетта взволнованно. — Да разве мы не в Венеции?

Она встала и подошла к окну. Ее юбка из белой тафты ложилась тысячью складок вокруг ее хрупкой талии. Ее темные волосы, выскользнув из-под больших булавок чеканного золота, которые их почти не удерживали, ниспадали ей на спину пахучей шелковистой волною. Ее щеки, тронутые бледным румянцем, ее нежная и в то же время грустная улыбка делали эту женщину такой прекрасной, что я позабыл обо всем, что она говорила, и подошел к ней, чтобы сжать ее в своих объятиях. Но она отдернула оконные шторы и, глядя сквозь стекла, на которых заблестел влажный луч луны, воскликнула:

— О Венеция! Как ты изменилась! Какой прекрасной я тебя видела когда-то и какой пустынной и унылой кажешься ты мне сегодня!

— Что вы говорите, Жюльетта? — воскликнул в свою очередь я. — Разве вы уже бывали в Венеции? Почему же вы мне об этом не говорили?

— Я заметила, что вы горите желанием увидеть этот прекрасный город, и знала, что одного моего слова достаточно, чтобы помешать вашему приезду сюда. Зачем мне было принуждать вас к тому, чтобы вы изменили свое решение?

— Да, я бы его изменил! — вскричал я, топнув ногой. — Да если бы мы уже въезжали в этот проклятый город, я заставил бы повернуть лодку и пристать к иному берегу, который не осквернен подобным воспоминанием; я домчал бы вас туда, я доставил бы вас туда вплавь, привел бы мне выбирать между подобной переправой и этим вот

домом, где вы, быть может, на каждом шагу ощущаете жгучий след его присутствия! Скажите же, наконец, Жюльетта, где я с вами мог бы укрыться от прошлого? Назовите мне город, укажите хоть какой-нибудь уголок Италии, куда бы этот проходимец не таскал вас с собою!

Я побледнел и задрожал от гнева. Жюльетта медленно повернулась, холодно взглянула на меня и снова отвела глаза к окну.

— Венеция, — проронила она, — мы любили тебя когда-то, и даже теперь я не могу смотреть на тебя без волнения: ведь он тебя боготворил, он вспоминал о тебе всюду, куда бы ни приезжал; он называл тебя своей дорогой отчизной, ибо ты была колыбелью его знатного рода и один из твоих дворцов еще поныне носит то же имя, что носил он.

— Клянусь смертью и вечным блаженством, — процедил я, понизив голос, — завтра же мы расстанемся с этой дорогой отчизной!

— Вы можете завтра расстаться и с Венецией, и с Жюльеттой, — ответила она мне с ледяным хладнокровием. — Что же до меня, я не желаю получать приказаний от кого бы то ни было и покину Венецию, когда мне заблагорассудится.

— Я, кажется, вас понимаю, сударыня, — возмущенно возразил я. — Леони в Венеции.

Жюльетта вздрогнула, точно ее поразил электрический ток.

— Что ты говоришь? Леони в Венеции? — вскричала она в каком-то бреду, бросаясь ко мне на грудь. — Повтори, что ты сказал, повтори его имя! Дай мне хотя бы еще раз услышать его! — Тут она залилась слезами и, задыхаясь от рыданий, почти потеряла сознание. Я отнес ее на диван и, не подумав помочь ей еще как-то иначе, стал снова расхаживать по краю ковра. Постепенно гнев мой утих, как утихает море, когда уляжется сирокко. Внезапное раздражение сменилось острой и мучительной болью, и я разрыдался, как женщина.

2

Все еще погруженный в свои терзания, я остановился в нескольких шагах от Жюльетты и взглянул на нее. Она лежала, отвернувшись к стене, но трюмо высотой в пятнадцать футов, занимавшее весь простенок, позволяло мне видеть ее лицо. Она была мертвенно-бледна; глаза ее были закрыты, точно она спала. Выражение ее лица говорило скорее об усталости, нежели о страдании, и полностью передавало то, что творилось у нее в душе: изнеможение и безучастность начинали брать верх над недавней бурной вспышкой чувств. Ко мне вернулась надежда.

Я тихо назвал ее по имени, и она взглянула на меня с каким-то изумлением, словно память ее утратила способность хранить в себе слова и поступки, а душе уже не доставало сил таить горечь обиды.

— Что тебе? — промолвила она. — Почему ты меня разбудил?

— Жюльетта, — прошептал я, — прости меня, я тебя оскорбил, я уязвил твое сердечное чувство...

— Нет, — ответила она, поднося одну руку ко лбу и протягивая мне другую, — ты уязвил лишь мою гордость. Прошу тебя, Алео, помни, что у меня нет ровно ничего, что я живу тем, что даешь мне ты, что мысль о моей зависимости для меня унижительна. Я знаю, ты был добр, ты был щедр ко мне; ты окружаешь меня заботами, осыпаешь драгоценностями, ты подавляешь меня всей роскошью и великолепием, которые тебе привычны; не будь тебя, я умерла бы в какой-нибудь больнице для бедных или меня бы заперли в сумасшедший дом. Мне это хорошо известно. Но вспомни, Бустаменте, что все это ты сделал помимо моей воли, что ты взял меня к себе полумертвой и оказал мне помощь и поддержку, когда у меня не было ни малейшего желания их принимать. Вспомни, как я хотела умереть, а ты просиживал ночи напролет у моего изголовья, держа меня за руки, чтобы помешать мне покончить с собою. Вспомни, что я долгое время отказывалась от твоего покровительства и твоих благодеяний и что если я принимаю их теперь, то делаю это отчасти по собственной слабости и потому, что мне опостылела жизнь, отчасти из чувства привязанности и признательности к тебе, умоляющему меня на коленях не отвергать твоей поддержки. Ты ведешь себя самым достойным образом, друг мой, я это прекрасно понимаю. Но разве

я виновата, что ты так добр? Неужели меня можно серьезно упрекать в том, что я унижаю себя, когда, одинокая, в полном отчаянии, я доверяюсь самому благородному сердцу на свете?

— Любимая, — прошептал я, прижимая ее к груди, — твои слова — великолепный ответ на подлые оскорбления негодяев, которые тебя не признали. Но к чему ты все это мне говоришь? Неужто ты считаешь необходимым оправдываться перед Бустаменте за счастье, которое ты ему подарила, за то единственное счастье, которое он познал в своей жизни? Оправдываться нужно мне, если только это возможно, ибо из нас двоих неправ я. Мне ли не знать, как упорно восставала твоя гордость и твое отчаяние в ответ на мои предложения; мне никогда не подобало бы об этом забывать. Когда я пытаюсь заговорить с тобою властным тоном, я просто сумасшедший, которого надо прощать, ибо страсть к тебе помутила мой разум и лишила меня последних сил. Прости меня, Жюльетта, забудь о минутной вспышке гнева. Увы! Я не способен внушить к себе любовь; в моем характере есть какая-то резкость, которая тебе неприятна. Я оскорбляю тебя в тот момент, когда уже начал тебя излечивать, и нередко за какой-нибудь час я разрушаю то, что создавал в течение долгих дней.

— Нет, нет, забудем эту ссору, — прервала Жюльетта, целуя меня. — Если ты мне причиняешь подчас какую-то боль, то я ведь причиняю тебе в сто раз большую. Ты бываешь порою властен, я в своем горе всегда жестока. И все же не думай, что горе это неизлечимо. Твоя доброта и твоя любовь в конце концов восторжествуют над ним. Я была бы поистине неблагодарна, если бы отвергла ту надежду, которую ты мне сулишь. Поговорим о замужестве в другой раз. Быть может, тебе удастся меня убедить. Тем не менее я должна признаться, что боюсь такого рода зависимости, освященной всеми законами и всеми предрассудками: она почетна, но она ненарушима.

— Еще одно жестокое слово, Жюльетта! Неужто ты боишься стать навсегда моей?

— Нет, конечно, нет! Я сделаю все, что ты захочешь. Но оставим это на сегодня.

— Так окажи мне тогда другую милость вместо этой: давай уедем завтра из Венеции.

— С радостью! Что мне Венеция, да и все остальное? Не верь мне, слышишь, когда иной раз я сожалею о прошлом: во мне говорит лишь

досада или безумие! Прошлое! Боже правый! Неужто ты не знаешь, сколько у меня причин, чтобы его ненавидеть? Пойми, это прошлое меня совершенно сломало! Да разве я в силах удержать его, даже если бы оно ко мне вернулось?

Я поцеловал Жюльетте руку в знак признательности за то усилие, которое она делала над собою, говоря это; но убедить она меня не смогла: внятного ответа я так и не получил. Я опять стал уныло шагать по комнате.

Подул сирокко и мгновенно высушил мостовые. И город снова, как обычно, весь зазвенел, и до нас донесся многоголосый шум праздника: то слышалось хриплое пение подвыпивших гондольеров, то резкие крики масок, выходящих из кафе и пристающих к прохожим, то всплеск весел на канале. Пушка с фрегата послала прощальный салют дальним отголоскам лагуны, и те гулко отозвались, словно раскатами орудийного залпа. С пушечным громом слились грубая дробь австрийского барабана и мрачный звон колокола собора Святого Марка.

Мною овладел приступ отчаянной тоски. Догоравшие свечи опаляли края зеленых бумажных розеток, бросая мертвенно-бледный свет на все предметы. Воображение мое населяло все вокруг какими-то причудливыми формами и звуками. Жюльетта, распростертая на диване и укутанная в шелк и горноста́й, представлялась мне мертвой, запеленутой в саван. В пении и смехе, доносившихся с канала, мне чудились крики о помощи, и каждая гондола, скользившая под сводами мраморного моста, внизу, у моего окна, наводила меня на мысль об утопленнике, борющемся в волнах со смертью. Словом, я видел перед собой лишь безнадежность и роковой конец и не мог стряхнуть гнета, камнем лежавшего у меня на сердце.

Но мало-помалу я успокоился, и мысли мои стали менее сумбурными. Я пришел к выводу, что исцеление Жюльетты происходит слишком медленно и что, невзирая на все самозабвенные поступки, совершаемые ею ради меня из чувства признательности, сердце у нее болит так же, как в первые дни нашей встречи. Эти столь долгие и столь горестные сожаления о любви, отданной недостойному существу, казались мне необъяснимыми, и я попытался отыскать причину их в бесплодности моего собственного чувства. Должно быть, подумал я, в характере моем есть нечто такое, что внушает ей

неодолимое отвращение, в котором она не смеет признаться. Быть может, мой образ жизни ненавистен ей, а между тем я как будто стараюсь сообразовать свои привычки с ее склонностями. Леони постоянно возил ее из города в город; я, вот уже два года, стараюсь тоже, чтобы она путешествовала, нигде подолгу не задерживаясь и тотчас же покидая любое место, лишь только замечаю малейшие признаки скуки на ее лице. И тем не менее она грустит. Сомнения нет: ничто ее не развлекает; а если она порой и улыбнется, то лишь из преданности. Даже все, что так нравится женщинам, не может победить ее скорбь. Скалу эту не поколеблешь, алмаз этот никак не потускнеет. Бедная Жюльетта! Какая сила заложена в твоей слабости! Какое удручающее упорство в твоей апатии!

Незаметно для самого себя я стал выражать вслух все то, что меня терзало. Жюльетта приподнялась на локте; опершись о подушки и наклонившись вперед, она с грустью внимала моим словам.

— Послушай, Жюльетта, — сказал я, подходя к ней. — Я по-новому представил себе причину твоего горя. Я слишком подавлял твою скорбь, ты старалась запрятать ее поглубже в своем сердце; я трусливо боялся взглянуть на эту рану, вид которой причинял мне страдание, ты великодушно скрывала ее от меня. Лишенная ухода и позабытая, рана твоя воспалялась с каждым днем, тогда как мне надлежало постоянно лечить и смягчать ее. Я был неправ, Жюльетта, тебе надо открыть свое горе, выплакать его у меня на груди. Нужно, чтобы ты поведала мне о своих минувших злоключениях, рассказала мне свою жизнь день за днем, назвала мне моего врага. Да, так нужно. Только что ты мне сказала слова, которых я не забуду; ты умоляла меня позволить тебе хотя бы услышать его имя. Так произнесем же вместе это проклятое имя, что жжет тебе язык и сердце! Поговорим о Леони.

Глаза Жюльетты зажглись невольным блеском. Я почувствовал, как у меня защемило сердце, но тут же пересилил свою боль и спросил Жюльетту, одобряет ли она мой план.

— Да, — ответила она серьезно, — полагаю, что ты прав. Знаешь, рыдания часто подступают мне к горлу, но, боясь огорчить тебя, я не даю им воли и таю свою боль в груди, как некое сокровище. Если бы я могла раскрыть перед тобою душу, мне кажется, я бы не так страдала. Мое горе — нечто вроде аромата, который в закрытом сосуде сохраняется вечно; стбит лишь приоткрыть этот сосуд — и аромат

быстро улетучится. Если бы я могла в любую минуту поговорить о Леони, рассказать тебе о малейших перипетиях нашей любви, перед моими глазами заново прошло бы все то хорошее и дурное, что он мне сделал. Твоя же сильная неприязнь кажется мне порою несправедливой, и в глубине души я готова простить такие обиды, которые — услышь я о них из чужих уст — меня возмутили бы.

— Так вот, — сказал я, — мне хочется узнать о них из твоих уст. Я ни разу еще не слышал подробности этой мрачной повести; я хочу, чтобы ты мне о них рассказала, чтобы ты мне поведала свою жизнь всю целиком. Узнав твои горести, я, быть может, научусь, как их лучше исцелить. Расскажи мне, Жюльетта, обо всем; расскажи мне, каким образом смог этот Леони заставить так полюбить себя; скажи, какими чарами, какую тайною он обладал; ибо я устал тщетно искать путь к твоему неприступному сердцу. Я слушаю тебя, говори.

— О да! Я этого тоже хочу, — ответила она. — Это в конце концов должно меня успокоить. Но дай мне говорить и не прерывай меня ни единым намеком на какое-либо огорчение или раздражение, ибо я расскажу тебе все, как это происходило. Я расскажу тебе и о хорошем, и о дурном, о том, как я страдала и как я любила.

— Ты мне расскажешь обо всем, и я выслушаю все, — ответил я ей. Я велел принести новые свечи и раздуть огонь в камине. Жюльетта начала так.

3

«Как вам известно, я дочь богатого брюссельского ювелира. Отец мой был весьма искусен в своем ремесле, но при всем том малообразован. Начав простым рабочим, он стал обладателем крупного состояния, которое умножалось день ото дня благодаря удачным коммерческим операциям. Несмотря на недостаточность своего воспитания, он постоянно бывал в самых богатых домах нашей провинции; а мою мать, красивую и остроумную женщину, охотно принимали в обществе весьма состоятельных негоциантов.

По натуре своей отец был человеком покладистым и апатичным. Это свойство характера постепенно усиливалось в нем по мере того, как росли достаток и комфорт. Моя мать, будучи значительно живее и моложе его, обладала неограниченной свободой и, пользуясь преимуществом своего положения, с упоением предавалась светским удовольствиям. Она была добра, искренна и отличалась многими другими приятными качествами. Но ей было свойственно легкомыслие, и поскольку красота ее, невзирая на годы, поразительно сохранилась, то это как бы удлиняло ей молодость и шло в ущерб моему воспитанию. Правда, она питала ко мне нежную любовь, но проявляла ее как-то неосмотрительно и безрассудно. Гордясь моим цветущим видом и кое-какими пустячными способностями, которые она постаралась во мне развить, она помышляла лишь о том, чтобы вывозить меня на прогулки и в свет; она испытывала некое сладостное, но весьма опасное тщеславие, надевая на меня что ни день все новые украшения и появляясь со мною на праздниках. Я вспоминаю об этом времени с болью и вместе с тем с какой-то радостью. С тех пор я не раз печально размышляла о том, как бесцельно прошли мои молодые годы, и все же поныне сожалею о тех счастливых и беспечных днях, которые бы лучше никогда не кончались или никогда не начинались. Мне кажется, я все еще вижу мою мать — ее округлую изящную фигуру, ее белые руки, черные глаза, ее улыбку, такую кокетливую и вместе с тем такую добрую; с первого же взгляда можно было сказать, что она никогда не знала ни забот, ни неприятностей и что она не способна принудить других к чему бы то ни было, даже из добрых побуждений. О да, я ее помню! Я припоминаю, как мы с нею сидели, бывало, все утро, обдумывая и подготавливая наши бальные туалеты,

а после полудня занимались уже совсем другим нарядом, столь прихотливым, что нам едва оставался какой-нибудь час на то, чтобы появиться на прогулке. Я отчетливо представляю себе мою мать, ее атласные платья, ее меха, длинные белые перья и окружавшее ее воздушное облачко из блонд и лент. Закончив собственный туалет, она на минуту забывала о себе и занималась мною. Мне бывало, правда, довольно скучно расшнуровывать черные атласные ботинки, чтобы разгладить еле заметную складку на чулке, или примерять поочередно двадцать пар перчаток, прежде чем остановиться на одной из них, розовый оттенок которой был бы достаточно свеж и отвечал бы вкусу матушки. Эти перчатки так плотно облевали руку, что, снимая, я рвала их, изрядно намучившись перед тем, чтобы их надеть; итак, все надо было начинать сызнова, и мы громоздили целые горы рваного хлама, прежде чем выбирали какую-нибудь пару, которую я носила всего лишь час, а затем отдавала горничной. Тем не менее меня настолько приучили с детства смотреть на эти мелочи как на самые важные занятия в жизни женщины, что я терпеливо подчинялась. Наконец мы выходили из дому, и, слыша шорох наших платьев, вдыхая аромат наших надушенных муфт, все оборачивались, чтобы поглядеть нам вслед. Я постепенно привыкла к тому, что наше имя на устах почти у всех мужчин и что их взгляды останавливаются на моем лице, хранившем тогда невозмутимое выражение. Такое вот сочетание безразличия и наивного бесстыдства и составляет то, что принято называть «хорошей манерой держаться», говоря о молодых девушках. Что же до матушки, то она испытывала двойную гордость, показывая и себя, и дочь; я была как бы отсветом или, вернее, какой-то частью ее самой, ее красоты, ее богатства; мои бриллианты блестяще свидетельствовали о ее хорошем вкусе; мои черты, схожие с ее чертами, напоминали и ей, и другим почти не тронутую годами свежесть ее ранней молодости; и, глядя на меня, такую худенькую, шедшую рядом с ней, моя мать словно видела себя дважды: бледной и хрупкой, какою она была в пятнадцать лет, яркой и красивой, какою она все еще оставалась. Ни за что на свете она не появилась бы на прогулке без меня: она решила бы, что ей чего-то недостает, и сочла бы себя полуодетой.

После обеда возобновлялись серьезные дискуссии по поводу бального платья, шелковых чулок и цветов.

Отец, занятый своей коммерцией только днем, предпочел бы спокойно проводить вечера в кругу семьи. Но по добродушию своему он и не замечал, что мы о нем совершенно забывали, и засыпал в своем кресле, тогда как причесывавшие нас девушки изо всех сил старались постичь причудливые выдумки моей матушки. К моменту нашего выезда добрейшего человека будили, и он тут же покорно доставал из своих шкатулок чудесные драгоценные камни, оправы к которым делались на заказ по его собственным рисункам. Он сам надевал их нам на руки и шею и любовался тем, как эти драгоценности на нас сверкают. Камни эти предназначались, вообще говоря, для продажи. Нередко мы слышали, как некоторые завистницы шептались, восторгаясь их блеском, и отпускали на наш счет злые шутки. Но мать мирилась с этим, говоря, что самые знатные дамы носят то, что им остается от нас, и это была суцая правда. На следующий день к отцу поступали заказы на драгоценности, подобные тем, что мы надевали накануне. Через некоторое время он отсылал клиентам именно наши; и нас это не огорчало: мы расставались с ними лишь для того, чтобы получить еще более красивые.

Я росла, ведя подобный образ жизни, не задумываясь ни о настоящем, ни о будущем и не делая никаких внутренних усилий, чтобы выработать себе характер и укрепить его. От природы я была мягкой, доверчивой, как и моя мать, я, как и она, безотчетно отдавалась на волю судьбы. И все же, по сравнению с нею, я была не такая веселая; меня меньше привлекали удовольствия и тщеславие; мне словно недоставало даже той небольшой доли энергии, которой обладала она, ее желания и умения развлекаться. Я как-то свыклась с той беспечной жизнью, что выпала мне на долю, не ценила ее и не сравнивала ни с чьей другой. О страстях я не имела ни малейшего представления. Меня воспитали так, будто мне вообще никогда не суждено их узнать; мать получила точно такое же воспитание и чувствовала себя превосходно, за неспособностью испытывать какие бы то ни было страсти, и поэтому ей ни разу не приходилось с ними бороться. Мой ум приучили к таким занятиям, где сердцу делать было нечего. Я блестяще играла на фортепьяно и чудесно танцевала, я рисовала акварелью, отличаясь поразительной точностью рисунка и свежестью красок, но в душе моей не было ни малейшей искры того божественного огня, который только один и создает жизнь и позволяет

понять ее смысл. Я обожала моих родителей, но не знала, что значит любить больше или меньше. Я могла превосходно сочинить письмо к какой-нибудь юной подружке, но не знала цены ни словам, ни чувствам. Подруг я любила по привычке, была добра с ними по долгу и по мягкости натуры, но характер их меня совершенно не интересовал: я вообще ни над чем не задумывалась. Я не делала никакого существенного различия между ними, и больше всего мне по душе бывала та, которая чаще всего ко мне приходила».

«Такой вот я и была. Мне шел семнадцатый год, когда в Брюссель приехал Леони. В первый раз я увидела его в театре. Я сидела с матерью в ложе, неподалеку от балкона, где он находился в обществе самых элегантных и состоятельных молодых людей. Моя мать первая указала мне на него. Она постоянно высматривала мне мужа, стараясь отыскать его среди таких мужчин, которые были особенно блестяще одеты и стройны; большего для нее и не требовалось. Знатность и состояние привлекали ее лишь как нечто такое, что дополняло более существенные данные — осанку и манеры. Человек выдающийся, но скромно одетый мог бы внушить ей одно презрение. Для ее будущего зятя требовалось, чтобы у него были особые манжеты, безукоризненный галстук, изящная фигура, красивое лицо, платье из Парижа и чтобы он умел поддерживать ту непринужденную, пустую болтовню, которая делает мужчину обаятельным в глазах общества.

Что до меня, я решительно не сравнивала одних мужчин с другими. Слепо доверяясь выбору моих родителей, я и не стремилась к замужеству, и не противилась ему.

Мать нашла Леони очаровательным. Правда, лицо его поразительно красиво, и он, денди по костюму и манерам, обладает непостижимым умением держаться непринужденно, мило и весело. Я, однако, не испытывала никаких романтических чувств, которые заставляют пылкие натуры предугадывать их грядущую судьбу. Я взглянула на него мельком, повинувшись лишь желанию матери, и никогда не посмотрела бы на него вторично, если бы она не принудила меня к этому своими непрерывными восклицаниями по его адресу и тем любопытством, которое она проявляла, желая узнать его имя. Один из знакомых нам молодых людей, которого она подозвала и расспросила, ответил ей, что это знатный венецианец, приятель одного из видных коммерсантов нашего города, что, по слухам, он обладает несметным состоянием и что зовут его Леоне Леони.

Моя мать пришла в восхищение от этого ответа. Коммерсант, приятель Леони, устраивал как раз на следующий день праздник, на который мы были приглашены. Матушке, беспечной и легковерной, оказалось вполне достаточно поверхностных сведений о том, что Леони богат и знатен, чтобы тотчас же приметить его. Она

заговорила о нем со мною в тот же вечер и посоветовала мне быть красивой назавтра. Я улыбнулась, заснула ровно в тот же час, что и в другие вечера, и мысль о Леони ни на одну секунду не заставила мое сердце биться сильнее. Меня приучили выслушивать подобные планы без всякого волнения. Мать утверждала, что я настолько рассудительна, что со мною уже не надобно обращаться как с ребенком. Бедная матушка и не замечала, что сама она куда больше ребенок, чем я.

Она одела меня так обдуманно и так изысканно, что я была признана царицей бала; но поначалу все оказалось впустую: Леони не появлялся, и мать подумала, что он уже уехал из Брюсселя. Не в силах побороть свое нетерпение, она спросила у хозяина дома, что случилось с его другом-венецианцем.

— А! — воскликнул господин Дельпек. — Вы уже заметили моего венецианца? — Он бросил беглый взгляд на мой туалет и все понял. — Это красивый мальчик, — добавил он, — весьма знатного происхождения и пользуется большим успехом в Париже и Лондоне. Но должен вам признаться, что он отчаянный игрок, и коль скоро вы его не видите здесь, то это потому, что он предпочитает карты самым красивым женщинам.

— Игрок! — воскликнула моя мать. — Это очень гадко!

— О! — отозвался господин Дельпек. — Это как сказать. Когда у вас есть к тому возможность!

— Да и в самом деле! — сказала моя мать, ограничиваясь этим замечанием. Она уже никогда больше не интересовалась страстью Леони к игре.

Через несколько минут после этого короткого разговора Леони вошел в залу, где мы танцевали. Я увидела, как господин Дельпек, посматривая на меня, шепнул ему что-то на ухо. Леони обвел рассеянным взглядом танцующих; прислушиваясь к словам своего приятеля, он наконец отыскал меня в толпе и даже подошел, чтобы лучше рассмотреть. В эту минуту я поняла, что моя роль барышни на выданье несколько смешна, ибо в его любовании мною было нечто ироническое; я, быть может, первый раз в жизни покраснела и почувствовала стыд.

Этот стыд превратился почти что в страдание, когда я заметила, что через несколько минут Леоне вернулся в игорную залу. Мне

почудилось, что меня высмеяли и с презрением отвергли, и я рассердилась на мать. Прежде этого со мною никогда не случалось, и она подивилась моему скверному настроению.

— Полно, — сказала она мне в свою очередь несколько раздраженно. — Не знаю, что с тобою, но ты заметно подурнела. Едем домой!

Она уже поднялась с места, когда Леони, быстро пройдя через всю залу, пригласил ее на тур вальса. Этот непредвиденный случай вернул матушке все ее оживление: она, смеясь, бросила мне свой веер и исчезла в вихре танца.

Так как она страстно любила танцевать, то на бал нас постоянно сопровождала старая тетушка, старшая сестра отца, которая опекала меня, когда я не получала приглашения на танец одновременно с матерью. Мадемуазель Агата — так звали мою тетушку — была старая дева с ровным, невозмутимым характером. Она отличалась бóльшим здравым смыслом, чем остальные мои домашние. Однако ей была присуща некоторая склонность к тщеславию — камню преткновения всех тех, кто проник в общество из низов. Хотя на балу она играла довольно жалкую роль, она ни разу не жаловалась на то, что ей приходится нас сопровождать: для нее это было поводом показать на старости лет нарядные платья, которые она не могла завести себе в молодости. Она, разумеется, высоко ценила деньги, но другие соблазны большого света привлекали ее значительно меньше. Она питала давнишнюю ненависть к представителям знати и не упускала случая посмеяться над ними и позлословить на их счет, делая это довольно остроумно.

Женщина тонкая и проницательная, привыкшая не столько действовать, сколько наблюдать за поступками других, она быстро разгадала причину внезапной перемены моего настроения. Оживленная болтовня моей матери раскрыла тетушке ее намерения относительно Леони, а физиономия венецианца, одновременно любезная, надменная и насмешливая, пояснила ей многое такое, чего ее невестка не понимала.

— Погляди, Жюльетта, — сказала она, наклонясь ко мне, — этот знатный синьор смеется над нами.

Больно задетая ее замечанием, я невольно вздрогнула. Слова тетушки совпадали с моими предчувствиями. Я впервые прочла на

лице мужчины презрение к нашему мещанству. Меня приучили потешаться над тем пренебрежением, которое нам почти открыто выказывали женщины, и считать его проявлением зависти; но наша красота избавляла нас до сих пор от презрения мужчин, и я решила, что Леони самый большой нахал, которого когда-либо видел свет. Он внушил мне отвращение; поэтому, когда, проводив до кресла мою мать, он пригласил меня на следующую кадрили, я немедленно отказалась. Лицо его выразило такое сильное недоумение, что я тотчас же поняла, до какой степени он рассчитывал на мое доброе согласие. Моя гордость восторжествовала, и, усевшись подле матери, я сказала ей, что очень устала. Леони отошел от нас, отвесив глубокий, по итальянскому обычаю, поклон и бросив на меня пристальный взгляд, в котором сквозила свойственная ему насмешливость.

Матушка, удивленная моим поведением, стала опасаться, что во мне может пробудиться какая-то воля. Она заговорила со мною осторожно, надеясь, что я еще потанцую и что Леони снова пригласит меня; но я упорно не вставала с места. Примерно через час, сквозь смутный гул бальной суеты, мы расслышали имя Леони, названное несколько раз подряд; кто-то, проходя поблизости, сказал, что Леони проиграл шестьсот луидоров.

— Отлично, — сухо заметила тетушка. — Теперь-то ему впору поискать красавицу невесту с хорошим приданым.

— О, ему это не требуется, — откликнулся кто-то другой, — он так богат!

— Взгляните, — добавил третий, — он танцует и, как видно, не слишком-то озабочен.

И правда, Леони танцевал с самым невозмутимым видом. Затем он подошел к нам, отпустил несколько банальных комплиментов моей матери с непринужденностью великосветского человека и попытался было вызвать меня на разговор, задав несколько вопросов, обращенных как бы косвенно ко мне. Но я упорно хранила молчание, и он удалился, делая вид, что ему это совершенно безразлично. Мать, в полном отчаянии, увезла меня домой.

Первый раз в жизни она меня выбрала, а я на нее надулась. Тетушка вступилась за меня, заявив, что Леони — нахал и шалопай. Мать, которая никогда не встречала такого противодействия, расплакалась, а вслед за нею и я.

Все эти небольшие неприятности, связанные с появлением Леони и с той трагической судьбою, которую ему суждено было мне принести, нарушили мой дотоле ничем не возмутимый душевный мир. Я не стану вам подробно рассказывать о том, что случилось в последующие дни. Да я отчетливо всего и не помню, и зарождение безудержной страсти к этому человеку до сих пор представляется мне каким-то диковинным сном, в котором рассудок мой никак не может разобраться. Несомненно, однако, что холодность моя задела Леони за живое, изумив и даже ошеломив его. Он сразу же стал относиться ко мне почтительно, что удовлетворило мою уязвленную гордость. Я видела его каждый день на балах и на прогулке, и моя неприязнь к нему быстро таяла перед необычайной заботливостью и скромной предупредительностью, которую он мне настойчиво выказывал. Тщетно моя тетушка пыталась предостеречь меня от Леони, обвиняя его в высокомерии; я уже не чувствовала себя оскорбленной ни его поведением, ни его словами; даже черты его утратили выражение того затаенного сарказма, который больно задел меня в начале нашего знакомства. Во взгляде его день ото дня все явственнее светилась какая-то непостижимая мягкость и нежность. Казалось, он занят только мною; жертвуя своей страстью к картам, он танцевал теперь ночи напролет, приглашая то матушку, то меня, или непринужденно болтал с нами. Вскоре Леони пригласили к нам. Я несколько побаивалась его посещения; тетушка предсказывала мне, что он найдет у нас в доме тысячу поводов для насмешек, делая вид, будто ничего такого и не заметил; на самом же деле этот визит даст ему возможность потешаться над нами в обществе своих приятелей. Итак, Леони пришел к нам, и, в довершение несчастья, отец, стоявший в это время на пороге своей лавки, именно через нее и ввел его в дом. Дом этот, который нам принадлежал, был очень хорош, и мать убрала его с изысканным вкусом. Но отец, которому по душе была лишь его коммерция, не пожелал перенести под другую крышу выставленные им для продажи жемчуга и бриллианты. Эти сплошные ряды искрометных камней за ограждавшими их большими зеркальными стеклами являли поистине великолепное зрелище, и отец справедливо говорил, что более роскошного убранства для нижнего этажа и не сыщешь. Мать, у которой до той поры бывали иногда лишь вспышки честолюбия, побуждавшего ее искать сближения со знатью, никогда

не смущало то, что ее фамилия, выгравированная крупными буквами из стразов, красуется под балконом ее спальни. Но, увидев с этого балкона, что Леони переступает порог злополучной лавки, она сочла нас погибшими и тревожно взглянула на меня».

«За те несколько дней, которые предшествовали визиту Леони, я почувствовала, что в душе моей пробуждается какая-то неведомая мне дотоле гордость. Я отчетливо ее испытала и, движимая неодолимым стремлением, захотела взглянуть, с каким видом Леони разговаривает за конторкой с моим отцом. Он медлил подниматься в гостиную, и я резонно предположила, что отец удержал его у себя, чтобы со свойственным ему простодушием показать чудесные образцы своей работы. Я смело спустилась в нижний этаж и вошла в лавку, притворившись несколько удивленной тем, что встретила там Леони. Входить в эту лавку мать мне всегда строго запрещала, опасаясь, как бы меня не приняли за приказчицу. Но я туда нет-нет да убегала, чтобы обнять моего милого отца, у которого не было большей отрады, чем принимать меня у себя внизу. Лишь только он меня завидел, у него вырвалось радостное восклицание, и он сказал, обращаясь к Леони:

— Послушайте, господин барон, все, что я вам показывал, — это пустяки. Вот мой самый прекрасный алмаз. — На лице Леони невольно отразилось восторженное изумление; он ласково улыбнулся моему отцу и страстно взглянул на меня. Никогда еще не доводилось мне видеть такого взгляда. Я вся зарделась. Когда же отец поцеловал меня в лоб, то от неясного чувства радости и нежности на глаза мои навернулись слезы.

С минуту мы все молчали. Затем Леони, вернувшись к прерванной беседе, сумел высказать моему отцу все, что только могло польстить самолюбию художника и коммерсанта. Ему, казалось, доставляло необычайное удовольствие, когда отец объяснял, какой тонкой обработкой можно получить из нешлифованного камня драгоценный бриллиант, придав ему игру и прозрачность. Он сам рассказал по этому поводу много интересного и, обратившись ко мне, добавил кое-какие подробности из области минералогии, доступные моему пониманию. Меня поразило, с каким умом и изяществом он возвеличивает и облагораживает наше общественное положение в наших собственных глазах. Он говорил о ювелирных изделиях, которые ему доводилось видеть за годы странствий по свету, и особенно расхваливал мастерство своего соотечественника Челлини, которого он ставил наряду с Микеланджело. Наконец он приписал

такие достоинства профессии отца и столь высоко оценил его талант, что я готова была задать себе вопрос, чья я, собственно, дочь: трудолюбивого ремесленника или гениального мастера?

Отец склонился ко второму предположению и, восхищенный обхождением венецианца, провел его в комнаты матери. В течение своего визита Леони проявил такой ум и говорил обо всем так тонко, что, слушая его, я была буквально зачарована. Раньше я и представить себе не могла, что существуют подобные мужчины. Те, на которых мне указывали как на самых приятных, были столь незначительны, столь ничтожны по сравнению с Леони, что мне почудилось, будто я вижу сон. Я была слишком необразованна, чтобы оценить знания и красноречие нашего гостя, но я понимала его как-то по наитию. Я чувствовала себя во власти его взгляда, меня увлекали его рассказы, и при каждом проявлении им каких-то новых познаний я испытывала изумление и восторг.

Леони, несомненно, наделен недюжинными способностями. За короткое время ему удалось взбудоражить весь город. Он, надо вам сказать, обладает всевозможными талантами, умеет обольстить решительно всех. Если он, после некоторых уговоров, участвовал в каком-нибудь концерте, то пел ли он или играл на любом инструменте, он выказывал явное превосходство над опытными музыкантами. Если он соглашался провести вечер в тесном дружеском кругу, он делал чудесные зарисовки в дамские альбомы. Он мгновенно набрасывал карандашом изящные портреты и остроумные карикатуры; он импровизировал и читал наизусть стихи на многих языках; он знал все характерные танцы Европы и танцевал их поразительно грациозно; он все видел, все помнил, имел обо всем свое суждение; он все понимал и все знал; вселенная, казалось, была для него раскрытой книгой. Он великолепно исполнял как трагические, так и комические роли, организовывал любительские труппы, бывал подчас и дирижером, и главным действующим лицом, и декоратором, и художником, и механиком. Он был душой любой компании, любого праздника. Поистине можно было сказать, что развлечения шли за ним по пятам и что все, к чему бы он ни прикасался, тотчас же меняло свой облик и полностью преображалось. Его слушали с каким-то восторгом, ему слепо повиновались, в него верили, как в пророка; и обещай он вернуть весну в разгар зимы, все бы сочли, что для него

это возможно. Через какой-нибудь месяц пребывания его в Брюсселе характер жителей совершенно изменился. Увеселения объединяли все классы общества, устраняли любую щепетильность, продиктованную высокомерием, уравнивали все сословия. Что ни день, устраивались кавалькады, фейерверки, спектакли, концерты, маскарады. Леони был щедр и великодушен; рабочие пошли бы ради него на бунт. Он рассыпал благодеяния полными пригоршнями, на все у него находились и деньги, и время. Его причуды тотчас же перенимались всеми. Все женщины в него влюблялись, а мужчины были настолько им покорены, что и не помышляли о ревности.

Могла ли я, видя это всеобщее увлечение, остаться равнодушной и не гордиться тем, что меня избрал человек, который всполошил население целой провинции? Леони был с нами крайне внимателен и почтителен. Мать и я стали пользоваться наибольшим успехом среди всех светских женщин города. Мы всегда сопутствовали Леони, играя первую роль во всех устраиваемых им увеселениях; он способствовал тому, что мы не останавливались перед самой безудержной роскошью; он делал рисунки наших туалетов и придумывал для нас характерные костюмы: во всем он знал толк и, в случае необходимости, мог бы сам смастерить нам и платья, и тюрбаны. Вот этим-то он и снискал себе расположение нашего семейства. Труднее всего было покорить мою тетушку. Она долго упорствовала и огорчала нас своими грустными наблюдениями.

— Леони, — твердила она, — это человек недостойного поведения, заядлый игрок; он выигрывает и проигрывает за один вечер состояние двадцати семей; он промотает и наше за какую-нибудь ночь.

Леони решил смягчить несговорчивость тетушки и преуспел в своем намерении, воздействовав на самолюбие — рычаг, к которому он приложил все свои усилия, но так незаметно, будто почти и не касался его. Вскоре все препятствия были устранены. Ему пообещали мою руку и полмиллиона приданого; моя тетушка заметила все же, что надобно поточнее узнать о состоянии и происхождении этого иностранца. Леони улыбнулся и обещал представить свои дворянские грамоты и бумаги об имущественном положении не позже, чем через двадцать дней. Он крайне легкомысленно отнесся к содержанию брачного контракта, составленного с большой щедростью и с полным доверием к нему. Казалось, он почти не знает о том, какое приданое

я ему приношу. Господин Дельпек, а с его слов и все новые приятели Леони, утверждал, что состояние их друга вчетверо больше нашего и что женится он на мне по любви. Убедить меня в этом было довольно легко. Меня дотоле еще никто не обманывал. Обманщиков и жуликов я представляла себе не иначе, как в жалком рубище, в позорном обличье...»

Мучительное чувство сдавило Жюльетте грудь. Она запнулась и взглянула на меня помутившимися глазами.

— Бедная девочка, — воскликнул я, — и как только тебе Господь не помог!

— Ах! — возразила она, слегка нахмутив иссиня-черные брови. — У меня вырвались ужасные слова, да простит мне их Бог! В сердце моем нет места ненависти, и я отнюдь не обвиняю Леони в злодействе. Нет, нет, я не желаю краснеть за то, что любила его. Это несчастный, которого следует пожалеть. Если б ты только знал... Но я тебе расскажу все.

— Продолжай, — сказал я. — Леони и без того достаточно виновен: ведь ты не собираешься обвинять его больше, чем он того заслуживает.

Жюльетта вернулась к своему рассказу.

«Суть в том, что он меня любил, любил ради меня самой; все дальнейшее это подтвердило. Не качай головой, Бустаменте: у Леони могучее тело и огромная душа; он вместил в себя всех добродетелей и всех пороков, в нем могут одновременно уживаться и самые низменные, и самые высокие страсти. Никто никогда не судил о нем беспристрастно, он справедливо это утверждал. Одна я знала его и могла воздать ему должное.

Язык, которым он говорил со мною, был совершенно непривычен для моего слуха и опьянял меня. Быть может, полное неведение, в котором я обреталась относительно всего, что касается чувств, делало для меня этот язык более сладостным и необычайным, чем то могло бы показаться какой-нибудь девушке поопытнее. Но я уверена (да и другие женщины уверены точно так же), что ни один мужчина на свете не ощущал и не выказывал любовь так, как Леони. Превосходя всех остальных как в дурном, так и в хорошем, он говорил на совершенно ином языке, у него был иной взгляд, да и совсем иное сердце. Я как-то слышала от одной итальянской дамы, что букет в руках Леони благоухал сильнее, чем в руках другого кавалера, и так

было во всем. Он придавал блеск самому простому и освежал самое обветшалое. Он имел огромное влияние на всех окружающих; я не могла, да и не хотела противиться этому влиянию. Я полюбила Леони всем сердцем.

Я почувствовала тогда, как вырастаю в собственных глазах. Было ли то делом божественного промысла, заслугой Леони или следствием любви, но в моем слабом теле пробудилась и расцвела большая и сильная душа. С каждым днем мне все больше и больше открывался целый мир каких-то новых понятий. Какое-нибудь одно слово Леони пробуждало во мне больше чувств, нежели вся легковесная болтовня, которой я наслушалась за свою жизнь. Замечая во мне этот духовный рост, он радовался и гордился. Он пожелал ускорить мое развитие и принес мне несколько книг. Моя мать взглянула на их позолоченные переплеты, на веленевые страницы, на гравюры. Она мельком прочла заглавия сочинений, которым суждено было вскружить мне голову и взволновать сердце. Все это были прекрасные, целомудренные книги — повести о женщинах, написанные, в большинстве своем, тоже женщинами: «Валери»¹, «Эжен де Ротелен»², «Мадемуазель де Клермон»³, «Дельфина»⁴. Эти трогательные, полные страсти рассказы, картины некоего идеального для меня мира возвысили мою душу, но и погубили ее. У меня появилось романическое воображение, самое пагубное для любой женщины».

6

«Трех месяцев оказалось достаточно для завершения этой перемены. Я вот-вот должна была обвенчаться с Леони. Из всех документов, которые он обещал представить, пришли только его метрическое свидетельство и дворянские грамоты. Что же до бумаг, подтверждающих его состояние, он запросил их через другого стряпчего, и они все еще не поступали. Это промедление, отдалявшее день нашей свадьбы, крайне печалило и раздражало Леони. Однажды утром он пришел к нам донельзя удрученный. Он показал нам письмо без почтового штемпеля, только что полученное им, по его словам, с особой оказией. В этом письме сообщалось, что его поверенный в делах умер, что преемник покойного, найдя бумаги в беспорядке, вынужден проделать огромную работу для признания их законности и что он просит еще одну-две недели, чтобы представить его милости затребованные сведения. Леони был взбешен этой помехой; он твердил, что умрет от нетерпения и горя еще до конца этого ужасного двухнедельного срока. Он упал в кресло и разрыдался.

Нет, то было непритворное горе, не улыбайтесь, дон Алео. Желая утешить Леони, я протянула ему руку. Она стала мокрой от его слез, и тут, в приливе сочувствия, я тоже расплакалась.

Бедная матушка не выдержала. Она в слезах побежала в лавку к отцу.

Кінець безкоштовного уривку. Щоби читати далі, придбайте, будь ласка, повну версію книги.

ridmi
ТВІЙ УЛЮБЛЕНИЙ КНИЖКОВИЙ

КУПИТИ